

Посвящается моей семье.

*Я хочу поблагодарить моего друга, писателя
Клода Клоца, который любезно согласился прочесть
мою рукопись и поправить её рукой мастера.*

ПРОЛОГ




та книга — не исторический труд.

Я хотел рассказать о том, что пережил в оккупации, так, как это запомнилось мне десятилетнему.

Прошло уже тридцать лет. Одни воспоминания уходят, другие слегка искажаются, такова уж наша память. Но главное — во всей его подлинности, трогательности, комичности и ужасе — здесь, на этих страницах.

Чтобы не задеть ничьи чувства, я изменил имена многих лиц, о которых пойдёт речь в этой истории, — истории двух детей, столкнувшихся с миром жестокости и абсурда, в котором тем не менее неожиданно-негаданно встречались милосердие и помощь.



арик перекачивается у меня между пальцев в глубине кармана.

Это мой любимый, я всегда пускаю его в ход последним. Самое смешное, что не найти шарик неказистее этого. Никакого сравнения с агатовыми красавцами или с восхитительными металлическими шариками с витрины папаши Рубена на углу улицы Рамэ. Мой сделан из глины; глазурь кое-где уже слезла и пошла трещинками, образуя причудливые рисунки, и теперь он выглядит как крохотный школьный глобус.

Я им очень дорожу, мне нравится носить с собой Землю со всеми её горами и морями. Я великан, и в кармане у меня целая вселенная.

— Долго ты ещё будешь чухаться?

Морис ждёт, сидя на тротуаре прямо перед мясной лавкой. Носки у него, как обычно, собираются гармошкой, за что папа зовёт его аккордеонистом.

У его ног возвышается пирамидка из шариков: три сложены треугольником, четвёртый сверху.

На пороге сидит бабушка Эпштейн и смотрит на нас. Это дряхлая, покрытая глубокими морщинами болгаринка. Каким-то чудом лицо её оставалось обветренно-смуглым, как будто бы она всё ещё кочевала в бескрайних балканских степях, а не проводила свои дни на соломенном стуле в квартале Порт де Клинянкур. В ней чувствовалось живое биение далёкой родины, чьи краски не желали тускнеть даже под серым парижским небом.

Бабушка Эпштейн сидит тут каждый день, улыбаясь детям, идущим из школы. Говорят, она прошла всю Европу пешком, спасаясь от погромов, пока не очутилась в XVIII округе, на окраине Парижа, среди таких же беженцев с Востока: русских, румын, чехов, товарищей Троцкого, интеллектуалов, ремесленников. Она живёт здесь уже больше двадцати лет; хотя медный загар и не сходит с её лица, воспоминания, конечно, должны были поблёкнуть.

Она смеётся, глядя на то, как я переминаюсь с ноги на ногу, и сжимает в руках истёртую саржу своего передника, такого же чёрного, как и моя школьная форма¹; в то время все школьники ходили в чёрном. Детство в трауре. В 1941-м это было как предзнаменование.

— Чёрт, да сколько ты будешь копать?

Ещё бы мне не копать! Хорошо Морису говорить, а я сыграл уже семь раз и всё ему продул. Добавьте это к шарикам, которые он выиграл на перемене, и станет понятно, отчего карманы у него так раздулись. Шаров столько, что он еле ноги передвигает. А у меня остался только один, заветный.

— Мне тут до утра, что ли, сопли морозить? — злится Морис.

Решаюсь.

¹ Речь идёт о специальной блузе или халате, который французские школьники тех лет надевали поверх одежды, чтобы защитить её от чернил. У советских школьников для этого позже будут нарукавники (*здесь и далее — прим. пер.*).

Шарик подрагивает в моей ладони, я бросаю, не зажмуриваясь. Мимо.

Так я и знал. Пора идти домой. Мясная лавка Гольденберга странно выглядит, словно я смотрю на неё из-за стекла аквариума, а дома на улице Маркаде так и расплываются у меня перед глазами.

Я смотрю влево, так как Морис идёт справа от меня; так он не может видеть, что я плачу.

— Хорош реветь, — говорит он.

— Я не реву.

— Когда ты смотришь в другую сторону, я точно знаю, что ревёшь.

Утираю слёзы рукавом. Ничего не отвечаю и ускоряю шаг. Нам влетит, мы уже давно должны были вернуться.

Вот и улица Клинянкур и наш дом. Крупные буквы на фасаде выведены так же красиво и чисто, как пишет учительница в подготовительном классе: «Парикмахерская Жоффо».

Морис толкает меня локтем в бок.

— Ну и умора с тобой. На.

Я смотрю на него и забираю шарик, который он мне протягивает.

Брат — это тот, кто вернёт тебе твой последний проигранный ему шарик.

Крохотная планета снова стала моей; завтра во дворе школы этот шарик добудет мне кучу других. Может быть, даже Мориса переиграю. Если он на два года старше, это не значит, что он тут главный.

В конце концов, мне уже целых десять лет.

Помню, как мы входим в парикмахерскую и меня со всех сторон окутывают запахи. Разумеется, в детстве каждого человека есть свои особые запахи, но мне достались все ароматы, какие можно вообразить, вся гамма, от лаванды до фиалки: этажерки у нас так и ломились от всевозможных флаконов. Неизменная нота — запах свежих

10 полотенец. И всё это сопровождалось лёгким пощёлкиванием ножниц, моей первой музыкой.

Когда мы входим, в салоне наплыв, ни одного свободного кресла. Дювалье, как обычно, дёргает меня за ухо, когда я прохожу мимо. Он практически жил у нас в парикмахерской. Видимо, ему нравилась и обстановка, и возможность побыть на людях. Оно и понятно: пожилой вдовец, один-одинёшенек в своей трёхкомнатной квартире под крышей на улице Симар... хоть волком вой. Вот он и спускался к евреям поболтать немного и сидел до самого вечера, всегда на одном и том же месте, рядом с вешалкой для одежды. Когда уходил последний клиент, он вставал и пересаживался в кресло, говоря: «Мне только побриться».

Брил его папа. Папа с его чудесными историями, любилец всей улицы, сгинувший в газовой камере.

Мы сделали уроки. В то время часов у меня не было, но я вряд ли потратил на это больше сорока пяти секунд. Я всегда всё знал наперёд, без зубрёжки. Мы немного потянули время в своей комнате, чтобы мама и братья не засадили нас снова за книги, а потом пошли вниз.

Альбер был по уши занят высоким типом с вьющимися волосами, который пожелал гладкую американскую стрижку, но всё-таки обернулся.

— Уже сделали?

Папа тоже поднял глаза, но мы воспользовались тем, что он рассчитывался с клиентом у кассы, и выскочили на улицу.

Славное было время.

Порт де Клинянкур в тысяча девятьсот сорок первом был раем для ребятни. Меня всегда изумляют современные «пространства для детей», о которых говорят архитекторы, все эти песочницы, тобогганы, качели и многие другие штуки, которые теперь полагается иметь в новых скверах и домах. Созданные людьми с ворохом дипломов

по детской психологии, эти площадки бесполезны. Детям там неинтересно.

И я спрашиваю себя, не лучше ли было бы всем этим экспертам по детским потребностям задуматься, почему в то время нам так нравилось в своём уголке Парижа. Серые улицы, огни магазинов, полоски неба над крышами в вышине; длинные тротуары, забитые мусорными баками, — ну как на них было не взобраться, как не спрятаться в подъездах домов, а чего стоили дверные звонки! В общем, у нас было всё: неугомонные консьержи, конные повозки, продавщица цветов, летние террасы кафе. Бесконечные улицы сплетались в гигантский, неохватный лабиринт. И мы шли на разведку.

Помню, как однажды, свернув с какой-то грязной улочки, мы обнаружили реку, которая текла прямо у нас под ногами, и почувствовали себя первооткрывателями. Гораздо позже я узнал, что это был канал Урк. Мы долго главели на плывущие по воде пятна солярки и пробки от бутылок и вернулись домой затемно.

— Куда пойдём?

Этот вопрос почти всегда задаёт Морис.

Когда я собираюсь ответить, мой взгляд скользит вверх по улице.

И я вижу их.

Надо сказать, их трудно было не заметить. Двое рослых, перетянутых портупелями мужчин в чёрном. Высокие сапоги блестят так, словно их начищали дни напролёт.

Морис оборачивается.

— СС, — тихо говорит он.

Мы смотрим, как они неспешно идут, медленно чекая шаг, будто на огромном плацу, посреди труб и барабанов.

— Спорим, они идут стричься?

Думаю, что идея пришла нам в головы в одну и ту же минуту.

12 Мы становимся вплотную к витрине, плечом к плечу, как сиамские близнецы, и немцы входят.

Тогда мы и начинаем смеяться.

Своими телами мы закрываем маленькое объявление, приклеенное на стекле. Чёрные буквы на жёлтом фоне складываются в слова: Yiddish Gescheft¹.

В салоне, в самой напряжённой тишине, которая когда-либо царил в парикмахерской, двое эсэсовцев с нашивками «Мёртвая голова» терпеливо ждут, сидя бок о бок с клиентами-евреями, пока за их шевелюры примутся мой отец-еврей или мои братья-евреи.

А двое маленьких евреев снаружи корчатся от смеха.

¹ Идиш: «Еврейский бизнес».